

### Что глаза мои видели <sup>1)</sup>.

Окунувшись снова в сутолоку повседневной адвокатской жизни, сталкиваясь с множеством людей, поглощенных исключительно своими личными, не всегда почтенными интересами, улавливая нетерпеливое настроение тыла, жаждущего как можно скорее отделаться от повседневных неудобств, сопряженных с продолжением войны, чуя, наконец, что под шумок всюду ведется настойчивая революционная пропаганда по трафарету 1905 — 1906 годов, и сознавая, что на этот раз ее результаты могут быть гораздо острее, я переживал мучительные часы ночной бессонницы.

Оторванный в течение дня неотложной текущей работой, казавшейся мне теперь пустой и ненужной, мой мозг начинал обыкновенно тревожно работать ночью, когда, лежа в постели, я тщетно силился уснуть.

Прямой уверенности в том, что не пройдет и двух месяцев, как все вокруг развалится, и прахом пойдут все жертвы и успехия родины в этой беспримерной войне, конечно, у меня не было, но какое-то гнетущее предчувствие огромной беды меня уже не покидало.

Все этому способствовало.

Шептуну более чем когда-либо шептали и предрекали. Государственная дума эффективнее, чем прежде, пускала фейерверки своих трескучих словоизвержений, не соображая их ни с моментом, ни с ближайшей государственной задачей. Как крысы, бегущие с обреченного на гибель корабля, уходили все сколько-нибудь «приличные» сановники и министры. Тень Распутина более зловеще, чем когда-либо, витала в закоулках Царскосельского дворца, и «прогрессивный

---

<sup>1)</sup> Автор — маститый русский либеральный адвокат и литератор, один из почтеннейших представителей нашего дореволюционного либерально-буржуазного „общества“. Салонная болтовня, какую представляют собой его воспоминания, интересна как чрезвычайно характерный показатель тех чувств и настроений, которые пробудила в наших либерально-буржуазных кругах Февральская революция. Небезынтересен также и нарисованный автором образ будущего главы Временного правительства. *Ред.*

паралич» Протопопова царствовал безраздельно в своем фантастическом величии.

— Пока мы у власти, — отпуская его направо и налево, — революция будет подавлена в самом корне, за это я ручаюсь!

И ему твердо верили в Царском Селе; благословляли даже судьбу, пославшую, наконец, России как раз в нужную минуту столь просвещенный, имевший и на Западе блестящий успех, государственный ум. Государю приписывали следующую фразу относительно выбора Протопопова:

— Чего еще они от меня хотят? Я взял товарища председателя Государственной думы... Раз он был ими избран, значит дума ему доверяла и ценила его. Иностранная пресса в течение его поездки с Милюковым и другими думскими выдвигала его преимущественно... Союзники от него в восторге... Кого мне было еще искать? Они не знают сами, чего хотят!..

А в это время бойкотируемый думой, высмеиваемый в печати, игнорируемый общественными организациями Протопопов в действительности был уже сумасшедшим. Он без толку носился в Парголово к бурятскому врачу Бадмаеву, бывшему приятелю Распутина, где, как говорят, имел таинственные совещания с «нужными» людьми.

Революционный авангард тем временем не дремал. Момент слишком благоприятствовал. В руках «оппозиции» был такой отличный козырь: раздувать опасения сепаратного мира, будто бы не только замышляемого, но чуть ли не готового уже к подписи в Царском. Эта версия усиленно пускалась в ход якобы ради подъема патриотического настроения обленившегося тыла.

Настоящего войска в Петрограде больше не было. Гвардия, спасшая Париж своим наступлением в Восточной Пруссии, более не существовала. Оставались от нее только вновь сформированные запасные батальоны, немногого стоящие.

Но и это было только каплею в море по сравнению с массой того призывного, с военной точки зрения, сорокалетнего хлама, который без всякой энергии муштровался на площадях и в переулках Петрограда.

Некоторый недостаток в продовольствии также начинал ощущаться: более или менее длинные хвосты уже начинали вытягиваться по улицам у мясных и хлебных лавок.

Люди со средствами, однако, не терпели еще недостатка ни в чем. Пирры еще задавались, и лучшие рестораны изобиловали не только посетителями, но и всем, чем можно было удовлетворить их изысканные аппетиты.

Театры и кинематографы, как всегда, были переполнены. Всюду чувствовалось, что «тыл» не стесняется в средствах.

Приток их ощущался и в таких общественных слоях, где раньше они были только в обрез.

А шептуны-предсказатели все накликали неизбежность революции. Они не уставали твердить о полном расстройстве транспорта и о быстро имеющем надвинуться голоде не только для Петрограда, но и для боевой северной армии.

О каком-либо правительственном курсе в это время смешно было не только говорить, но даже помышлять.

С каждым новым назначением власть все распылялась и распылялась, превращаясь в нечто абсолютно мифическое. Бедный царь ездил в ставку и обратно, сжимал в своих объятиях неразлучного с ним любимого сына и — увы! — не чувствовал и не сознавал, что под его ногами уже звучит зловещая пустота. Незримой для него подземной работой пропасть подкопана была уже под его ногами. Еще шаг, другой, — и уже безразлично, твердый или осторожный, — и подкоп неминуемо обрушится, и пропасть поглотит его.

Все кто были наиболее преданы и близки ему уже были устранены или сами оставили царя.

Убийство Распутина в великосветской ночной засаде, с цитированием при этом таких имен, как кн. Юсупова, в. кн. Дмитрия Павловича и монархиста Пуришкевича, и почему-то подозреваемых якобы соучастников их, таинственных агентов английского посланника Бьюкенена, пробило первую кровавую брешь в царскосельском гнезде.

«Никому не позволено заниматься убийствами!» — была, будто бы, резолюция царя на ходатайства великих князей об отмене высылки в. кн. Дмитрия Павловича<sup>1)</sup>.

\* \*  
\*

Убийство Распутина оправдывалось главным образом решимостью устранить опасность сепаратного мира. Но и после этого убийства все осталось по-старому. Власть не обновлялась, и те же опасения эксплуатировались по-прежнему.

Петроград продолжал пока-что усиленно веселиться и либерально судачить, носясь со стишками по адресу «стоящего у власти» Протопопова:

«Про то Попка знает,  
Про то Попка ведает!».

Глупые стишки обошли вскоре всю Россию, и шарада их тайного смысла услаждала сердца доморощенных патриотов. Гадали еще о том, будет ли предан суду Сухомлинов,

<sup>1)</sup> Подробности об этом см. у Палей (стр. 345). *Ред.*

бывший военный министр, и притом не иначе, как в качестве «изменника», хотя все отлично сознавали, что этот слабовольный рамолик мог быть повинен в чем угодно, только не в измене. Не все ли равно, раз по настроению общества жертва была необходима!

Протопопов долго не решался освободить Сухомлинова от предварительного заключения в Петропавловской крепости, куда его демонстративно засадил Штюрмер, гораздо более Сухомлинова близкий к измене.

Когда Сухомлинова выпустили из крепости под домашний арест, стали толковать: «толпа ворвется в его квартиру и растерзает его». Но толпа и не думала о нем. Спекулирующие якобы возмущенным патриотическим чувством искали только предлога подчеркнуть лишний раз наличие измены у самого подножья трона.

Пробовали пошатывать и самый трон, правда, выделяя еще самого царя, но так обидно, что лучше бы не выделяли.

Так работал тыл.

\* \*  
=

Когда революционный эксцесс извергается, как лава из кратера огнедышащей горы, предостерегающие явления, естественно, предшествуют. У нас еще накануне «великой революции», т.е. глубочайшего переворота для всей России, явных предзнаменований того, что должно было случиться, для непосвященного в подпольную работу еще не обнаруживалось.

Широкая публика ничего не подозревала<sup>1)</sup>.

26 февраля, в субботу<sup>2)</sup>, состоялся, много раз откладывавшийся по случаю запоздания в изготовлении художником Головиным декораций, юбилейный бенефис драматического артиста Ю. М. Юрьева.

Зал был переполнен избранною публикою. Лермонтовский «Маскарад», обставленный с небывалою, даже для императорского театра, роскошью, в Мейерхольдовской постановке, переносил зрителей в область, чуждую тревожениям дня, чуждую политике, всецело погружая душу в круг личных, интимных страстей и переживаний.

<sup>1)</sup> Речь идет, разумеется, о „высокопоставленной“ и обывательской публике. *Ред.*

<sup>2)</sup> Дни автором явно перепутаны: в субботу было не 26, а 25 февраля, а 26-е число приходилось в воскресенье. Так как через полстраницы автор заявляет, что и на следующей день он был в театре, и так как невероятно, чтобы 27 февраля, в день победы революции, он не заметил последней, то, очевидно, здесь речь идет не о воскресенье 26 февраля, а о субботе 25 февраля. *Ред.*

Отдыхали глаза, наслаждался слух чудным лермонтовским стихом, и уличная суতোлка еще не врывается в театральное зало, как это неизбежно случалось два-три дня спустя.

Бенефициант был в ударе, и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытии занавесе, режиссер подал ему первым «подарок от государя императора», вторым—от «вдовствующей императрицы Марии Федоровны». Оба эти подношения удостоились бурных оваций, одинаково демонстративных и по адресу бенефицианта, и по адресу царственного внимания к русскому заслуженному артисту. Отмечали только, что государыня Александра Федоровна, не посещавшая русский драматический театр и вообще редко показывавшаяся публично, ничем не откликнулась.

Случилось так, что и на другой день мы были в театре, на этот раз—в Мариинском, где был наш абонемент в балете.

Днем у моей жены были визитеры, главным образом, из военных. Разговоры были характерные. Заезжий провинциальный «уполномоченный», бывший кирасир, редко наезжавший в Петроград, возбужденно толковал: «Говорю вам, и казаки в рабочих стрелять не будут, о солдатах и говорить нечего. Я побывал в военных кругах Петрограда, против думы никто не пойдет!»

В это время усиленно поговаривали о том, что думу по высочайшему повелению распустят и что она решила добровольно этому не подчиниться.

Другой военный, бывший лейб-улан, теперь штабной, возмущаясь этим, все-таки возлагал надежду на казаков и советовал «уполномоченному» не болтать вздора.

Артиллерийский полковник, стоявший со своей вновь сформированной батареей в Петергофе, приехал на воскресенье в Петроград, чтобы побывать в балете, и не хотел верить ни роспуску думы, ни серьезным военным столкновениям.

Под вечер полковник Б., состоявший уже при четвертом министре внутренних дел (начиная с Хвостова) «для поручений», телефонировал нам и дружески советовал не ехать сегодня в балет, особенно в автомобиле, так как кое-где предвидится стрельба, толпа может нагрянуть и в освещенный а giorno Мариинский театр.

— У страха глаза велики!— решила жена, подбодренная спокойствием артиллерийского полковника и бывшего лейб-улана, приглашенных к нам в ложу. Обнаружить заранее трусость казалось ей позорным, и мы поехали, и притом, как всегда, в автомобиле.

По дороге, на Дворцовой набережной, встречали конные наряды казаков, но в общем все, казалось, было спокойно;

выстрелов не слышали. Говорили, что на Выборгской стороне идут столкновения рабочих с полицией, и казаки, будто бы, уже хлещут встречных нагайками.

В зале театра, несмотря на первый, самый балетоманский абонемент и участие выдающейся балерины, было пустовато. Ясно было, что страх уже обвеял театральные завсегдатаев. К Кюба ужинать после спектакля, как бывало раньше, не поехали.

Военные спешили восвояси: один — в Петергоф, к своей батарее, другой — в главный штаб за вестями.

Обратный путь к дому совершили еще благополучно, заметили только, что Морская и Невский проспект необычно пустынно. В такой час они обыкновенно еще кишели народом.

Кто-то в театре передал пущенный по городу слух, что будто бы на чердаках домов всюду расставлены полицией пулеметы. Вероятно, этот слух и разогнал публику.

На следующий день и в последующие два дня революции была уже в полном ходу.

Понеслись по городу автомобили, наполненные вооруженными бандами солдат, с красными отметинами.

На окраинах и мостах, ведущих к окраинам, завязывались настоящие сражения. Из тюрем выпускали уже арестантов. Горело здание судебных установлений, сжигались судебный и прокурорский архивы.

С опасностью для жизни бывшие в здании суда адвокаты спасали ценные портреты наших старейшин, украшавшие комнату совета присяжных поверенных.

У Таврического дворца, где собралась Государственная дума, войска, переходившие на сторону думы, образовали компактную охрану и явились ядром, бесповоротно решившим судьбу России.

По Знаменской улице, мимо наших окон, носилась на открытых автомобилях вооруженная молодежь из студентов, рабочих и гимназистов; к ним примыкали девицы в наряде сестер милосердия.

Уже к вечеру первого дня было ясно, что мечты Протопопова о подавлении революции не осуществились. Сам он через черный ход сбежал из своей министерской квартиры, пока толпа врвалась в соседнее помещение департамента полиции, чтобы громить его. Некоторое время он укрывался у знакомого зубного врача, но тот побоялся дольше держать его, и он явился «сдаться» в думу.

Городовых тем временем беспощадно убивали. Полицейские дома и участки брали приступом и сжигали; с офицеров срывали ордена и погоны и обезоруживали их; протестовавших тут же убивали.

К нам во двор вечером пришли «братъ автомобиль». Перепуганный шофер скрылся, но автомобиль пришлось выдать, так как банда была вооружена, и его взяли бы силой.

В соседних домах автомобили и оружие забирали всюду, и налеты эти сопровождались обыкновенно победными выстрелами.

Мне передавали, что в группе молодежи, отбравшей мой автомобиль, кто-то сказал:

— Тут не надо стрелять, зачем беспокоить Н. П.! — назвал меня кто-то по имени и отчеству.

Кто был этот благодетель: студент, рабочий или помощник присяжного поверенного?.. Тщетное любопытство... Тогда все перемешалось.

На соседнем дворе убили дворника за то, что он не сразу раскрыв ворота. Лазили по чердакам, все искали пулеметов и оружия.

К нам с обыском в особняк милостиво не пришли: спросили только у дворника: не ставила ли полиция пулемета на чердаке. Поверили на слово, что пулемета не имеется.

Легенда о пулеметах на чердаках домов сыграла вообще немалую роль.

Была ли верна подобная версия или это была только провокационная сказка, не берусь решать<sup>1)</sup>. Но рассказы относительно пулеметов давали отличный повод обстрелять любой дом и забраться в него с самыми разнообразными целями и намерениями.

Жертв революции, т.е. убитых, по крайней мере, в первые дни, было мало (городовые, которых беспощадно убивали, конечно, не в счет), почему ее прославили даже «бескровной»<sup>2)</sup>, впоследствии она выросла уже в «великую».

Власти, войско, полиция, — все, что призвано охранять «существующий порядок», сдало страшно быстро. Пошла настоящая феерия. Ко дворцу Государственной думы стали стекаться толпы, как толпы правоверных в Мекку.

Тут был центр, гвоздь, Синай и таинственные еще пока, под облачной завесой, скрижали «нового завета».

Имя Родзянко было на всех устах. Одна из наших горничных, Марина, недалекая, но считавшая себя образованной, потому что вела знакомство с «распропагандирован-

<sup>1)</sup> В действительности полицейские пулеметы на чердаках, на колокольнях, на каланчах далеко не были «легендой» и «провокационной сказкой». Они довольно энергично «работали» в воскресенье 26 февраля, а частью и следующие дни. *Ред.*

<sup>2)</sup> А это уже безусловная легенда. Если скинуть со «счета» любезных автору городовых, то одни лишь убитые ими рабочие и солдаты насчитываются сотнями, — число не столь уже малое, чтобы иметь право говорить о «бескровности» революции. *Ред.*

ным» писарем из штаба, вечно бегала к думе и приносила в буфетную новости.

— Как Родзянко только показался, сейчас ему «ура» по всей площади... Милюков тоже нынче говорил, про проливы поминал, ему в ладоши хлопали...

Только ленивый не говорил тогда перед думой, и всех «одобряли» одинаково. Раз Марина выпалила и такую новость: «А хорошо, если бы Вильгельм согласился царствовать перед нами... Он умный, не то что наш!...».

Наконец, пришла весть об отречении царя.

В первую минуту как будто все ожили: вступит на престол Михаил, будет конституция, будет ответственное министерство, фронт не развалится, все пойдет своим чередом, спокойствие восстановится.

Не тут-то было.

«Прозорливые» вожди революции убедили в. к. Михаила отказаться впредь до созыва Учредительного собрания. Говорили, что Керенский и Набоков запугивали его, уверяя, что он тотчас же будет убит.

У менее прозорливых тут уж совсем руки опустились...

Выходя на улицу, все нацепляли красные банты и ленточки; особенно старательно — обезоруженные офицеры.

Я и мои близкие этим не согрешили.

Было противно тотчас же перекрашиваться.

Великие князья по очереди спешили засвидетельствовать свое почтение перед революцией. Командир флотского гвардейского экипажа в. к. Кирилл Владимирович сам привел свой экипаж в думу для присяги Временному правительству. В. к. Николай Михайлович носился по городу в штатском платье и имел сияющий вид. Окончательно олиберализируясь тем временем газеты беспощадно хлестали «лежачего», отрекшегося царя, выливая на него и на его семью ушаты грязи, перетряхивая всю распутиновщину и сдабривая ее пикантною ложью.

Иначе, как на «демократической республике» никто уже не хотел мириться.

«Великая» разыгралась во-всю.

\* \*

\*

Часов в 10 утра 3 марта меня вызвали к телефону.

— Кто говорит?

— Н. П., с вами говорит министр юстиции А. Ф. Керенский. Сегодня в ночь сформировано Временное правительство. Я взял портфель министра юстиции.

— Поздравляю вас.

— Н. П., забудем наши разногласия. Вы должны помочь



мне сформировать состав министерства и сената... Я хочу поставить правосудие на недостижимую высоту...

— Прекрасная задача!

— Не можете ли вы собрать ваших товарищей по совету<sup>1)</sup> сегодня же? Я хотел бы посоветоваться, чтобы наметить кандидатов...

— Помещение нашего совета погибло при пожаре здания судебных установлений.

— А вы не хотите принять меня у себя!

— Буду рад, если это вас устроит: в котором часу?

— После трех, можно?

— Буду ждать.

Перезвонившись с делопроизводителем, я распорядился оповестить членов совета и просил их собраться к трем часам у меня, в помещении моей канцелярии.

К трем часам почти все, находившиеся в Петрограде, товарищи по совету были в сборе.

«Определенно-левые» ликовали. Остальные, в том числе и я, без энтузиазма принимали совершившийся факт, с твердым намерением помочь правосудию удержаться на должной высоте.

Общим оттенком настроения было изумление перед столь быстрой сменой декораций. На это, повидимому, не рассчитывали наиболее оптимистически настроенные вожди революции. Члены Государственной думы, решившие не подчиняться приказу о роспуске думы, имели при себе, как говорят, яд, на случай неудачи и захвата их правительственными силами, что представлялось им довольно вероятным.

В 3 часа в мою канцелярию без доклада суетливо проник громоздкий, но озабоченно-подвижный граф А. А. Орлов-Давыдов, член Государственной думы, какими-то таинственными, психологическими нитями очень привязанный к Керенскому.

— Здравствуйте, что скажете?—встретил я графа, которого знал хорошо, так как был одно время его адвокатом.

— Я от Александра Федоровича... Он просил меня предупредить вас, что немного запоздает, его задержали в думе... Вы мне позволите дождаться его у вас?.. Я должен потом ехать с ним...

Я провел графа в соседнюю комнату, и он расположился там курить и терпеливо ждать.

Довольно скоро после этого в передней послышалось движение. Швейцар суетливо распахнул двери моего рабо-

<sup>1)</sup> Здесь, а также и дальше, речь идет о так называемом «совете присяжных поверенных», возглавлявшем тогда адвокатское «сословие».

чего кабинета, где заседали мы, и в него быстрыми шагами вошел Керенский. Он был в черной рабочей куртке, застегнутой наглухо, без всяких признаков белья. За ним следовал молодой присяжный поверенный Д. в военно-походной форме, как «призванный», работавший в какой-то военной канцелярии.

Керенский отрекомендовал нам его, как «офицера для поручений» при нем, министре.

Граф Орлов-Давыдов не выдержал и высунул свою густо обросшую волосами любопытствующую физиономию из двери, чтобы насладиться зрелищем.

От имени совета присяжных поверенных я приветствовал нового министра юстиции, высказав ему пожелание быть стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия.

Он отвечал тепло и искренно, называя нас своими «учителями и дорогими товарищами», после чего облобызался с каждым из нас.

Мы усадили его в кресло. Одну секунду он был близок к обмороку. Я распорядился подать крепкого вина, и он, глотнув немного, оправился.

Я сидел рядом с ним и дотронулся до его похолодевшей руки. Он крепко пожал мою.

Какая-то глубокая, затаенная жалость в эту минуту мирила меня с ним.

— Уже закружилась голова,—подумал я,—что-то будет дальше!..

— Я устал, ужасно устал!—как бы отвечая на мою тайную мысль, окончательно очнувшись, начал Керенский.— Три ночи совершенно без сна... Зато свершилось... Свершилось то, чего мы даже не смели ждать...

Партийные его товарищи,—а их было несколько в составе совета,—тотчас же стали расспрашивать о подробностях формирования Временного правительства.

Керенский перечислил всех, при чем отметил, что самым радикальным является он, министр юстиции и генерал-прокурор, и что в деле правосудия не будет места никаким компромиссам, за это он ручается. Основательную чистку именно надо начать с нашей юстиции. Сенаторы и судьи несменяемы; он, конечно, высоко ценит этот принцип, но с большинством, не нарушая принципа, можно будет справиться... хотя бы путем предложения повышенных пенсий...

— Александр Алексеевич нам это устроит, не правда ли?—обратился он с этими словами к члену совета Демьянову, бывшему тут же, и продолжал.— Я назначаю вас, А. А., директором департамента министерства юстиции по

личному составу... Надеюсь, вы соглашаетесь... Господа, вы одобряете?..

Никто не возразил, в том числе и сам Демьянов.

А. А. Демьянов, очень милый и мягкий, несмотря на свою ярую партийность, человек, был из адвокатов, делами не заваленных, и в качестве члена докладчика по советским делам отличался значительной ленцой, с вечными затягиваниями по и готовности решений в окончательной форме.

Иных отличительных черт его мы не знали.

— Н. П., — порывисто обратился ко мне Керенский, — хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею ввиду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных...

— Нет, А. Ф., разрешите мне остаться тем, что я есть, адвокатом, — поспешил я ответить. — Я еще пригожусь в качестве защитника...

— Кому? — с улыбкой спросил Керенский, — Николаю Романову?..

— О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить.

Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я и все поняли, что это намек на повешение.

— Две, три жертвы, пожалуй, необходимы! — сказал Керенский, обводя нас своим, не то загадочным, не то подслеповатым взглядом, благодаря тяжело нависшим на глаза верхним векам.

— Только не это, — дотронулся я до его плеча, — этого мы вам не простим!.. Забудьте о французской революции, мы в двадцатом веке, стыдно, да и бессмысленно итти по ее стопам...

Почти все присоединились к моему мнению и стали убеждать его не вводить смертной казни в качестве атрибута нового режима.

— Да, да! согласился Керенский. — Бескровная революция, это была моя всегдашняя мечта<sup>1)</sup>...

Выбор двух товарищей министра прошел довольно быстро. Было ясно, что только признак явной принадлеж-

<sup>1)</sup> Впоследствии Керенский с пафосом заявлял, что он не хочет быть Маратом русской революции. Повидимому, это было благотворным результатом дружеских увещаний Карабчевского и его друзей. Не в пример „кровожадному Марату“ Керенский всегда питал отвращение к пролитию царственной и аристократической крови, что, однако, нисколько не мешало ему посылить содействовать пролитию плебейской крови наступившем на фронте, введенным смертной казни для солдат и т. д. *Ред.*

ности к его политической партии улыбался новому министру, при чем и из этого круга лиц он старательно обходил имена сколько-нибудь яркие.

Обычная ошибка всех, так или иначе добравшихся до власти: боязнь сколько-нибудь сильных людей подле себя,— подумал я после того, как предложенная мною кандидатура прис. повер. Тесленко из Москвы и М. В. Беренштама из Петрограда были им мягко отвергнуты.

В конце концов, в товарищи министра юстиции попали два хороших человека и недурных юриста, но, с моей точки зрения, абсолютно непригодные для предстоящей определенно-быстрой, не терпящей отлагательства работы. Оба были скорее тяжкодумы, с невинною наклонностью к неторопливому, о хороших вещах, собеседованию.

Прокурором петроградской судебной палаты кто-то предложил Переверзева. Я попробовал отстоять его, расхвалив его деятельность на фронте, и сказал: «Оставьте его на фронте, пусть он носится там на коне и творит хорошо налаженное дело». Но Керенский уже ухватился за предложенную кандидатуру: — «Пусть носится на коне здесь!.. Это для прокурора от революции будет даже эффективнее. По вашим же словам он энергичный».

— У него энергия мирная, какая идет брату милосердия, для прокурора нужна другого сорта энергия, нужен и опыт, и навык, — попробовал я еще.

Кандидатура Переверзева была принята.

Побеседовали мы еще с полчаса и напились чаю.

Керенский, между прочим, нам объявил, что завтра он в качестве генерал-прокурора отправится в сенат для объявления об отречении царя и об образовании Временного правительства, о чем должно последовать сенатское определение для опубликования.

— А если они (т.-е. сенаторы) вас не признают, так как царь при своем отречении указал на своего преемника?! — заметил я.

— Тогда мы, — трогая большим пальцем свою грудь, — их не признаем! — лаконически отрезал Керенский.

Относительно ближайшей деятельности министерства юстиции он посвятил нас в свои планы. Будет немедленно образован целый ряд законодательных комиссий для пересмотра законов уголовных, гражданских, судопроизводственных и судостроительных, при чем положение об организации адвокатуры должно расширить ее автономию и обеспечить полную ее независимость.

Из ближайших законодательных декретов: еврейское равноправие во всей полноте и равноправие женщин, с предоставлением им политических прав. Наконец, не терпящее

ни малейшего отлагательства учреждение особой, с чрезвычайными полномочиями, следственной комиссии для расследования и предания суду бывших министров, сановников, должностных и частных лиц, преступления которых могут иметь государственное значение.

— Председателем этой комиссии я решил назначить московского присяжного поверенного Н. К. Муравьева, — продолжал Керенский, оживляясь от мысли о том, сколько благого им уже предназначено. — Он как раз подходящий. Докопается, не отстанет, пока не выскребет яйца до скорлупы. К тому же и фамилия для такой грозной комиссии самая подходящая... Трепетали же перед Муравьевым Виленским и перед министром юстиции Муравьевым, пусть и наш Муравьев нагонит им трепета...

На прощание Керенский, как бы уже окрыленный оказанным ему дружеским приемом, снова расцеловался с нами.

Граф Орлов-Давыдов выскочил из своей засады и, опередив Керенского, помчался к подъезду.

Оставаясь с товарищами в продолжавшемся еще нашем заседании, я не видел дальнейшего, но домашние рассказывали, что у подъезда собралась кучка любопытных, приветствовавшая Керенского при его появлении. Тут были дворники и прислуга нашего и соседних домов и случайно остановившиеся прохожие. Керенский, стоя в автомобиле, произнес им краткую речь, начав ее словами «товарищи». Граф Орлов-Давыдов, взгромоздившись в автомобиль, отстранил шофера и сам стал управлять им.

Словоохотливая наша горничная Марина, все воспринимавшая, знавшая графа, как бывавшего у нас раньше, побывав на митингах у дворца Кшесинской, принесла в буфетную новость: «Объясняли так, что князя и графя заместо дворников улицы будут мести... Наш графчик недаром к самому Керенскому шофером подсыпался... Метлы в руки брать охоты нет!»...

\* \* \*

Стоит ли описывать, что было дальше?..

В здании министерства юстиции во всех углах и утром, и по вечерам, заседали комиссии. Либеральные профессора-юристы наслаждались в них своим собственным, долго сдерживаемым красноречием. Уголовники Чужбинский и Люблинский побивали в этом отношении все рекорды, не уступал им только все еще красноречивый А. Ф. Кони, который после переговоров с Керенским согласился принять должность первоприсутствующего сенатора в уголовном кассационном департаменте.

Товарищ нового министра А. С. Зарудный, председательствуя, руководил прениями, не отказывая и себе в удовольствии высказывать свое мотивированное суждение по поводу каждого высказанного мнения.

Общая комиссия подразделялась на специальные, а эти последние — на подкомиссии и на бюро докладчиков.

Кто только в них не заседал? Тут были и вновь испеченные сенаторы из адвокатов и из бывших прежде в загоне либеральных судебных деятелей, и вновь назначенные прокуроры, и председатели палат и окружных судов, и некоторые чины прежнего министерства, зарекомендовавшие себя так или иначе либерально, но адвокаты всюду преобладали.

В работах министерских комиссий Керенский лично не принимал участия, но раз он выступил с программною речью в общем собрании всех этих комиссий.

Появился он с помпой, в сопровождении двух очень молодых военных адъютантов, которые, став по его бокам, старались выразительно делать «стойку», поднимая и опуская глаза в том же темпе, как делал это он, произнося свою речь<sup>1)</sup>.

Его проводили аплодисментами.

На-ряду с этим административный строй нового министерства был и остался в хаотическом состоянии. Самый внешний вид когда-то аккуратно содержимого помещения выглядел теперь неряшливо, чему немало способствовали загрязнившиеся красные тряпицы, развешенные кое-где в виде революционных эмблем.

Курьеры и сторожа бестолково мыкались от двери к двери, не понимая, кого нужно просителям, которые толпились массаами в министерских коридорах и расходились, не добившись толку.

Все вместе взятое производило впечатление какого-то временного пристанища пришлых людей.

Почти такое же впечатление получалось и при посещении других правительственных учреждений и канцелярий.

Мне случилось быть на Мойке в доме бывшего военного министра, где принимал теперь Гучков. Та же картина. Только сам новый министр в огромном, аккуратно прибранном кабинете производил, в противовес растерянности чинов министерства, впечатление некоторого, отчасти даже философского спокойствия. Он выслушивал всех внимательно и тотчас же довольно находчиво клал свои резолюции.

Я лично знал его, и он со мною пооткровенничал.

---

<sup>1)</sup> Эти адъютанты сопровождали Керенского и на „демократическом совещании“ (см. „Воспоминания“ Шидловского). Повидимому, они были специально выдрессированы для своей „почетной“ роли. *Ред.*

— Вот, как видите... Я без охраны. Каждую минуту могут ворваться, убить или выгнать отсюда... К этому надо быть готовым.

Своим мужеством он подкупил меня. Я сочувственно пожал ему руку.

В министерстве иностранных дел, где принимал теперь Милюков, традиции оказались сильнее революции. Все было мертвенно чинно и пустынно.

Я имел у нового министра аудиенцию в качестве «председателя чрезвычайной комиссии по расследованию германских зверств и нарушения правил и обычаев ведения войны».

Настроение нового руководителя нашей внешней политики было радужное, в себе уверенное. Он, казалось, уже предвкушал плоды победы...

План моих работ по комиссии он одобрил и поощрил меня к скорейшему выпуску нового издания, которое я хотел озаглавить: «Горе побежденным».

При выходе из его кабинета я столкнулся с английским посланником Бьюкененом. По словам лично мне знакомого дежурного чиновника министерства, где весь состав служащих оставался прежний, Бьюкенен ежедневно бывал здесь и по часам беседовал с Милюковым.

Новый министр иностранных дел, погруженный в мечты о проливах и Босфоре, чувствовал себя на своем посту, как дома. Он и помолодел, и приосанился.

Повидимому, ему и на ум не приходило, что не сегодня—завтра «улица» его уберет с гамом и криком, с бряцанием оружия, и ему ничего больше не останется, как находчиво скаламбурить: «не я ушел, а меня ушли!»

Пришлось мне проникнуть и в кабинет председателя Временного правительства, министра внутренних дел князя Львова. Очаровательное впечатление производила его личность, и вместе с тем тревожные опасения, что он не на своем месте, проникали в сознание.

Самое помещение на площади Александринского театра казалось уютной, барской стариной, со своими аккуратно расставленными пузатыми креслами, диванами и стульями. Оставаясь в нем, не хотелось верить, что за его стенами все уже беспорядочно, взбаломучено, заплевано и безнадежно растерзано.

Сам князь Львов на своем посту отнюдь не имел вида ликующего представителя нового, победного режима. Какая-то сосредоточенно-покорная грусть, казалось, проникала уже все его существо. Движения и слова его были медленны и как-то застенчиво-сдержанны, точно их каждую секунду кто-нибудь намеревался грубо прервать.

Когда зашла речь о Керенском, я высказал откровенно о нем свое мнение. Князь на это задумчиво промолвил:

— Вы хорошо его знаете, ведь он из вашего адвокатского круга... Вы верно судите: он был на месте со своим истерическим пафосом только пока нужно было разрушать. Теперь задача куда труднее... Одно истерического пафоса не надолго хватит. Теперь и без того кругом истерика, ее врачевать надо, а не разжигать!..

\* \* \*

Участь отречшегося царя и всей его семьи, арестованных в царскосельском дворце, не могла не интересоваться всех честных людей.

Я живо представлял себе печальный трагизм их положения и, естественно, интересовался их судьбой.

Непосредственно вслед затем, как Керенский впервые посетил царскосельских узников, мне пришлось с ним видеться. Нас было несколько в его кабинете, все товарищей, присяжных поверенных, когда он только что вернулся из Царского Села. Мне показалось, что Керенский был несколько взволнован; во всяком случае, к чести его должен отметить, что он не имел торжествующе-самодовольного вида.

По его словам, с государем или, как он называл его, Николаем II он имел довольно продолжительную беседу. Царь представил ему и наследника.

Кто-то спросил Керенского: правда ли, что наследник упорно допрашивал его: вправе ли был отец отречься за него от престола? На это Керенский с усмешкою сказал: «Не думаю, чтобы он меня принял за адвоката. Он со мною ни о чем не консультировал. Повидимому, он очень привязан к отцу...».

Относительно государыни он обмолвился: «Она во всей своей замкнутой гордыне. Едва показалась и... приняла меня по-императорски...».

Я поинтересовался знать: как он, Керенский, титуловал царя.

На это Керенский живо, в свою очередь, спросил меня:

— А как бы вы, будучи на моем месте, его величали?

— Разумеется, «вашим величеством», — сказал я с настойчивостью. — То, что он был царем и царствовал в течение 22 лет, отнять вы у него не можете.

— Я уже не помню, как обмолвился... — не желая, видимо, ответить прямо, оборвал Керенский затронутую тему.

На самых первых порах обстановка, в которой содержался царь и его семья, еще носила следы почетного плена



и не была слишком стеснительна. Охрана была только вокруг дворца, внутри же пленники могли видаться не только между собою, но и со своею небольшою свитою, оставшею им верной. Вырубова до перевода ее в Петропавловскую крепость бывала неотступно при государыне.

Гучков, в качестве военного министра, начальником внутреннего караула дворца назначил бывшего лейб-улана П. П. Коцебу, старший брат которого долгое время состоял адъютантом великого князя Николая Николаевича.

Светски - дисциплинированный, беспартийно - тактичный, Коцебу своим внимательным отношением к положению царственных пленников был вполне на месте. Он исполнял свой долг, повинаясь данной ему инструкции, но вместе с тем не допускал в своих приемах ни малейшей бравады, дурного тона или непочтительности, чем снискал себе скоро расположение всей царской семьи.

П. П. Коцебу наш давний, хороший знакомый, нередко бывал у нас. После оставления им Царского Села он кое-чем поделился с нами.

— Ужасно было тяжело! Я поседел за это время,— начал он обыкновенно свое повествование.

Бывший гвардейский офицер полка ее величества, лично известный царю и царице, должен был в качестве их тюремщика чувствовать себя действительно убийственно. По его словам, он не отклонил возложенной на него миссии только в надежде скрасить своим присутствием, сколько возможно, участь заключенных.

На первых порах это ему удавалось.

Государь, свалив с своих плеч бремя самодержавия, казался спокойным. Он весь ушел в тихий уют своей семейной обстановки.

Только одна царица оставалась по-прежнему горделиво-неприступной и теперь уже казалась какою-то не от мира сего, ушедшею целиком в свою затаенную, далекую от окружающего думу.

Когда еще Вырубова была при ней, они вдвоем производили впечатление экзальтированных духовидиц. Вырубова крестилась перед каждою дверью, перед каждою встречей.

За время Коцебу, т. е. почти на первых порах царского плена, разыгрался следующий эпизод:

В Царское прибыл из Петрограда спешно по железной дороге небольшой отряд каких-то вооруженных, не то солдат, не то добровольцев, предводительствуемый весьма, по видимому, энергичным «полковником». В их распоряжении были и три пулемета.

Оставив отряд на вокзале, «полковник» отправился во дворец, где вызвал Коцебу для переговоров. Он заявил ему,

что в интересах «углубления революции» установившийся режим содержания царя и его семьи недопустим. Не имеется даже уверенности, что царь уже не скрылся. Он с «товарищами» уполномочен принять охрану царя, препроводив его в Петропавловскую крепость. Коцебу попросил «полковника» подождать ответа, сам же отправился в помещение своего караульного отряда. Здесь он объяснил солдатам о цели появления самовольного, как он полагал, авантюриста, желающего силой захватить царя, и спросил их, обещают ли они исполнить свой долг по охране царя и готовы ли в случае надобности оружием отразить попытку захватить его.

В числе «товарищей» нашелся один, который вызвался «уладить дело» с «полковником», переговорив с ним наедине. Повидимому, личность «полковника» была ему хорошо известна по каким-то партийным отношениям. Сам вызвавшийся был призывной, из очень красных-непримиримых.

Его переговоры с полковником увенчались для всех неожиданным успехом. Полковник как-то разом сдал, секунду задумался, а затем сказал, что во всяком случае должен убедиться, что слухи об исчезновении Николая II ложны. Ему должны показать отрекшегося царя.

На это предложение Коцебу пошел. Вызвав графа Бенкендорфа, бывшего при царе, он переговорил с ним, и было решено, что государь покажется, пройдя коридором, в конце которого будет находиться желающие видеть его.

Когда «полковника» провели в условное место, под охраной караульных и самого Коцебу, и сообщили, что царь сейчас покажется, он, по словам Коцебу, очень заволновался. За ним зорко стали наблюдать, чтобы он не выхватил из кобуры револьвера.

Государь показался в дверях, выходящих в коридор, и довольно долго постоял в них. Затем он медленно пересек коридор и скрылся в противоположных дверях, кивнув на прощание головой.

Минута была полна жуткого трагизма.

Как передавал нам Коцебу, «полковник», при появлении царя и пока тот не скрылся, все время дрожал, как в лихорадке, и весь изменился в лице. Когда царь скрылся, он молча вышел из дворца и со своим отрядом и пулеметами немедленно покинул Царское Село.

— Не была ли это попытка преданных царю лиц захватить его с целью освобождения и, быть может, даже восстановления его царственных прав, под вымышленным предлогом препровождения в Петропавловскую крепость?

Коцебу на этот мой вопрос ответил отрицательно. Личность «полковника» была ему совершенно неизвестна и не

отличалась симпатичностью. Было более вероятно, что имелось в виду убийство царя во имя все упорнее выдвигавшегося тогда лозунга «углубления революции»<sup>1)</sup>.

Я расспрашивал Коцебу о том, как переносит царь свое пленение, что говорит о своем отречении, каково вообще его отношение ко всему случившемуся.

Коцебу весьма неохотно вдавался в интимные подробности, тем не менее однажды обмолвился:

— Я не только преклонялся пред достоинством его поведения, я завидовал ясности его духа и глубокому смирению, с которыми он переносил свои несчастья... Отречение он считал актом, необходимым для счастья своей страны... Когда я заметил ему, что были войсковые части, которые остались ему верными до конца, государь тотчас же перебил меня словами: «Да, все остались мне верными, но после моего отречения им только и оставалось присягнуть Временному правительству. Кровь пролилась вопреки моей воле...»

Когда пошел слух о том, что армия готовится к наступлению на немцев и что в Галиции одержана крупная победа, царь,—по словам Коцебу,—истово перекрестился и сказал: «Благодарение богу! Лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, все остальное сейчас неважно...».

Однажды Коцебу решился спросить государя: каковы его личные виды и желания относительно его и семьи его дальнейшей судьбы?

Царь на это тотчас же ответил: «Мое желание—не покидать России, но ради здоровья сына я предпочел бы поселиться на южном берегу Крыма... Если же мое присутствие в России может вредить государственному спокойствию, переселение за границу я приму, как изгнание...»

И с царицей Коцебу однажды попробовал заговорить на ту же щекотливую тему, он предложил ей: «Ваше величество, вы написали бы королеве английской, чтобы она позаботилась о вас и о детях ваших».

Александра Феодоровна вся встрепенулась, окинула его быстрым взглядом и сказала: «Мне не к кому обращаться

<sup>1)</sup> Судя по всем данным, речь идет об известной «экспедиции» Мстиславского. Получив сведения о том, что Временное правительство назначило на 9 марта вывоз Николая II в Архангельск для отправки за границу, Исполнительный комитет поручил Мстиславскому и Тарасову-Родионову с отрядом солдат отправиться в тот же день в Царское Село и воспрепятствовать увозу бывш. царя. Выяснив надежность находившихся во дворце солдат и приняв меры к усилению охраны, Мстиславский вернулся обратно в Петроград. Весь эпизод изложен у Карабчевского крайне «неточно» и сильно расходится с рассказом самого Мстиславского (см. Мстиславский. «Пять дней»). *Ред.*

с мольбами после всего пережитого нами, кроме господ бога. Английской королеве мне не о чем писать...»

Коцебу, подозреваемый в слишком большом мирволении царственным пленникам, вскоре был сменен. На его место Керенским был назначен Коровиченко, бывший военный юрист, потом присяжный поверенный, во время войны призванный на военную службу.

Когда я попенял Керенскому за то, что он удалил от царской семьи Коцебу, который, благодаря своей воспитанности, был здесь на месте, он мне сказал: «Ему перестали доверять, подозревали, что он допускал сношения царя с внешним миром. Коровиченко вне подозрений, но он человек мягкий и деликатный, ненужных стеснений он не допустит».

Позднее, когда и Коровиченко кем-то заменили, Керенский как-то посмеиваясь обмолвился: «Беда мне с этим Николаем П, он всех очаровывает. Коровиченко прямо-таки в него влюбился. Пришлось убрать. А на этом многие играют: требуют непременно отправить его в Петропавловскую...».

Я резко заметил: «Это была бы гнусность...»—Керенский не возразил, и я тут же спросил его: «Отчего Временное правительство не препроводит немедленно его с семьей за границу, чтобы раз навсегда оградить его от унижительных мытарств?» Керенский не сразу мне ответил. Помолчав, он как-то нехотя процедил: «Это очень сложно, сложнее, нежели вы думаете...».